

К ЗАМЫСЛУ ПУШКИНА О ФАУСТЕ

«Сцена из Фауста» А. С. Пушкина, впервые опубликованная в журнале «Московский вестник» за 1828 год, первоначально называлась «Новая сцена между Фаустом и Мефистофелем», поэтому мы можем — через диалогическое соотнесение гетевского текста с пушкинским — говорить о пушкинской версии легенды о Фаусте. Мифологическая противоположность «жизнь — смерть» трансформируется, и «жизнь» символизирует идею жертвы. Не убивающий, а убиенный (образ казненных декабристов в сознании поэта).

У Гете Фауст сильнее Мефистофеля, именно в нем «убивающее начало», и осмыслить это можно лишь через ключевой образ «лабиринта жизни» в «Посвящении»: «...des Lebens labyrinthisch irren Lauf» («Безумный бег по лабиринту жизни»). Образ Тезея, убивающего Минотавра, трансформируется в образ Фауста, и человек в борьбе с дьяволом окажется сильнее (синтез античного мифа и средневековой легенды о чернокнижнике). Но здесь кроется противоречие, которое важно для понимания гетевской трагедии. По Гете, нравственная сущность Фауста несет в себе два противоречащих друг другу закона: с одной стороны, деятельный момент, а с другой — невозможность действия, потому что человеку противостоит враждебная действительность, и любое действие оборачивается для него виной.

В нравственном мире гетевского «Фауста» «религия подземного мира» (Гегель) играет конструктивную роль. Между Фаустом и земным миром пролегла целая вечность (формальный момент «преодоления времени» — переход из первой части трагедии ко второй). Фауст забывает о прошлом, но человек, по мысли Гете, живет до тех пор, пока в нем прочная связь прошлого и настоящего, без которых нет и будущего. Душа Фауста, оторвавшись от силы самой жизни (земной мир, любовь Гретхен), предстала как «хаос духовных сил» (почва для Мефистофеля).

Фауст как «господин мира» есть ничто иное, как «чудовищное самосознание»; стремление почувствовать себя созидющим богом в действительности породило лишь преступление, и только божественное спасение примиряет человека с трагической судьбой. Душа Фауста спасена, и спасение это — дар Бога, ничем не объяснимый; попытаться объяснить — значит искушать дьявола, по Августину.

Если у Гете Фауст в конечном итоге становится «господином

мира», то у Пушкина власть Фауста над миром дается в пародийном плане. Эпизод, где речь идет о потоплении корабля

*На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь /.../.*

читается совсем в ином ключе, чем сожжение дома и гибель Филемона и Бавкиды по вине Фауста (вторая часть трагедии Гете).

Пародийность сближает с замыслом Пушкина и замысел Гейне о Фаусте, причем Гейне в смысле снижения образа пойдет еще дальше¹. Мефистофель сильнее Фауста и в замысле Пушкина, только слабость Фауста — это не слабость человека недостойного, как у Гейне (геттингенский профессор, но безвольный человек и распутник), а совершенная человеческая беспомощность перед непостижимыми законами наступательной жизни.

Таким образом, меняется сам облик Фауста. Фауст Пушкина забыть прошлое не в силах, прошлое живет в настоящем:

*О сон чудесный!
О пламя чистое любви!
Там, там — где тень, где шум древесный,
Где сладко — звонкие струи,
Там на груди ее прелестной,
Покая томную главу,
Я счастлив был...*

Фауст осмысливает свою любовь как идеал, но в его рефлектирующем сознании возникает мысль о роковой силе безжалостной действительности, когда самая возвышенная мечта («грезы сердца») становится до отвращения плоской и пошлой.

Осознавая зыбкость существующих законов, Фауст осознает и свою несущественность; сознание Фауста, изгнанное из враждебной действительности назад в себя и способное лишь размышлять об этой своей несущественности («Мне скучно, бес»), порождает дихотомию («деление на два») сознания:

*Что грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистой?
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем:
Так безрасчетный дуралей,
Вотще решаешь на злое дело,
Зарезав нищего в лесу,
Бранит ободранное тело,
Так на продажную красу,
Насытись ею торопливо,
Разврат косится боязливо.*

¹ Об этом см. дневник Э. Ведекинда в кн.: Гейне в воспоминаниях современников: Серия литературных мемуаров. — М., 1988. — С. 79—80.

Важно помнить, что тайные мысли Фауста высказывает ему Мефистофель. «Разрушительная» речь Мефистофеля перехлестывает мысль Фауста, и эта напористость, подчеркиваемая звуковым рядом (нагромождение звуков гр-р-зр-з-с-т), образует как бы «зияние ада» и пугает Фауста:

*Сокройся, адское творенье,
Беги от взора моего!*

Пушкинский Фауст не в силах преодолеть идею смертности; он совершенно беспомощен перед лицом времени и это связывает его, но воля к жизни сказалась в прозрении: он увидел вокруг себя не саму жизнь, а лишь «обман жизни». Речь Мефистофеля обманчиво двусмысленна:

*Таков вам положен предел,
Его ж никто не преступает.
Вся тварь разумная скучает:
Иной от лени, тот от дел;
Кто верит, кто утратил веру;
Тот насладиться не успел,
Тот насладился через меру,
И всяк зевает да живет —
И всех вас гроб, зевая, ждет.
Зевай и ты.*

Мысль о том, что рационализация («доказательство рассудка» по Пушкину), эта подделка под разум, не приближает, а уводит от истины, в гетевском Фаусте нашла свое полное выражение в образах Вагнера и Ученика. В рационализирующем интеллекте мысль не имеет жизни, она есть пустая оболочка, которая легко принимается и также легко отбрасывается. Когда Мефистофель говорит Ученику: «Grau, teurer Freund, ist alle Theorie/Und grün des Lebens goldner Baum» (Бесцветна, дорогой друг, всякая теория, Но зелено жизни золотое древо) — он прodelывает свой очередной кунштшток (двусмысленная игра словами: grau — серый; седой, а слово grün — зеленый; незрелый). Мефистофель показывает Ученику лишь пустую оболочку мысли, так как Ученик рассудочен, но не разумен. Живая мысль, присущая Фаусту, но не Вагнеру и Ученику, несет в себе подлинное, глубоко человеческое знание о мире.

А. С. Пушкин в своем «Фаусте» затрагивает не столько проблему бессмертия, сколько идею гуманности, оформляющую и организующую земной мир. И если у Гете идея гуманности связана с идеей Бога (к примеру, слова Мефистофеля в «Прологе на небесах» о том, что Господь Бог даже с самим чертом разговаривает по-человечески: «Es ist gar hübsch von einem großen Herrn,/So menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen», — то у Пушкина Фауст бессилён постичь идею Бога. Круг судьбы разомкнуть не дано; человек, живущий творчески и совершенно беспомощный перед злой деятельностью, не может укрепить свою жизнь и верой в божественное спасение.

Возможно, именно этим объясняется еще одно принципиальное различие в оформлении мира у Гете и Пушкина. В гетевской трагедии Гретхен виновна, потому что любит. До встречи с Генрихом мир ее нравственно устойчив, но сила ее любви столь велика, что нарушает спокойную организацию бюргеровского мира. Сама Гретхен осознает свою вину («Сцена в Соборе»), поэтому и вина получает значение преступления. В пушкинском замысле тема виновности Гретхен не получает развития, сила Гретхен — в ее жертвенности: «агнец мой послушный».

Иное, нежели у Гете, отношение Пушкина к «религии подземного мира» объясняется и особым отношением поэта к «метафизическому языку». В статье «О причинах, замедливших ход нашей словесности» Пушкин скажет: «/.../метафизического языка у нас вовсе не существует/.../». Можно предположить, что замысел о Фаусте также свидетельствует о том, что процесс освоения метафизического языка был поэтом завершен; а созданный два года спустя миф о Дон-Жуане («Каменный гость», 1830) выразит «религию подземного мира» уже принципиально иначе.

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ПУШКИНОВЕДЕНИЯ

Межвузовский сборник научных трудов

**ПОСВЯЩАЕТСЯ
СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МАЙМИНА**

Псков 1991